
ИЛЛЮМИНАТОР
Алессандро Барикко
Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»
Шёлк
Alessandro Baricco
Seta

Шёлк
Алессандро Барикко

Аннотация
Алессандро Барикко. ШЁЛК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Аннотация

Роман А. Барикко «Шёлк» — один из самых ярких итальянских бестселлеров конца XX века. Место действия романа — Япония. Время действия — конец прошлого века. Так что никаких самолетов, стиральных машин и психоанализа, предупреждает нас автор. Об этом как-нибудь в другой раз. А пока — пленившая Европу и Америку, тонкая как шелк повесть о женщине-призраке и неудержимой страсти.

На обложке: фрагмент картины Клода Моне «Мадам Моне в японском костюме», 1876

Алессандро Барикко
ШЁЛК

1

Хотя отец и рисовал для него блестящую карьеру военного, в конечном счете Эрве Жонкур стал зарабатывать себе на жизнь весьма необычным ремеслом, которому, по иронии судьбы, была не чужда особенность настолько привлекательная, что выдавала смутную *женскую* интонацию.

Эрве Жонкур зарабатывал на жизнь тем, что покупал и продавал шелковичных червей.

Шел 1861. Флобер сочинял «Саламбо», электрическое освещение значилось в догадках, а по ту сторону Океана Авраам Линкольн вел войну, конца которой он так и не увидит.

Эрве Жонкуру было 32 года.

Он покупал и продавал.

Шелковичных червей.

2

Вернее сказать, Эрве Жонкур покупал и продавал шелковичных червей, когда они пребывали еще не в виде червей, а в виде крошечных желтовато-серых яичек, неподвижных и как будто мертвых. На одной ладони их помещалось видимо-невидимо.

«Все равно что держать в руке целое состояние».

В начале мая яйца раскрывались, высвобождая личинку. Через месяц лихорадочного поедания тутовых листьев личинка окуклялась, навивая кокон. А еще через две недели окончательно прободала его, оставляя по себе солидный прибыток, выражавшийся в тысяче метров грубой шелковой нити и кругленькой сумме французских франков. При условии, что все проходило строго по правилам и — как в случае с Эрве Жонкуром — в каком-нибудь подходящем местечке на юге Франции.

Лавильдье — так звалось местечко, где жил Эрве Жонкур.

Элен — так звали его жену.

Детей у них не было.

3

Дабы избежать пагубных последствий мора, то и дело опустошавшего европейские рассадники, Эрве Жонкур все больше склонялся к покупке яиц шелкопряда за Средиземным морем, в Сирии и Египте. В этом заключалась утонченно-рискованная сторона его ремесла. Что ни год, в первых числах января он отправлялся в путь. Тысяча шестьсот миль по морю и восемьсот верст по суше. Он отбирал товар, приценивался и покупал. Затем проделывал обратный путь — восемьсот верст по суше, тысяча шестьсот миль по морю — и поспевал в Лавильдье как раз в первое воскресенье апреля. Как раз к Праздничной мессе.

Еще две недели уходили на то, чтобы разложить и продать кладки яиц.

Остаток года он отдыхал.

4

— Какая она, Африка? — спрашивали его.

— Усталая.

У него был большой дом прямо за окраиной городка и маленькая мастерская в центре — прямо напротив заброшенного дома Жана Бербека.

Однажды Жан Бербек решил, что не будет больше говорить. И сдержал слово. Жена и двое дочерей ушли от него. Он умер. На дом никто не позарился, вот и стоял он в полном запустении.

Покупая и продавая шелковичных червей, Эрве Жонкур зарабатывал достаточно, чтобы обеспечить себе и своей жене те удобства, которые в провинции принято считать роскошью. Он умело заправлял хозяйством, во всем знал меру, ну а вероятность — вполне достижимая — по-настоящему разбогатеть оставляла его совершенно равнодушным. Тем более что был он из тех, кому по душе *созерцать* собственную жизнь и кто не приемлет всякий соблазн *участвовать* в ней.

Замечено, что такие люди наблюдают за своей судьбой примерно так, как большинство людей за дождливым днем.

5

Спроси его кто-нибудь, Эрве Жонкур ответил бы, что готов жить так вечно. Но вот, в начале шестидесятых, моровое поветрие пебрины напрочь загубило рассадники шелкопряда в Европе, пахнув к тому же за море, в Африку, а по слухам, и в Индию. Когда в 1861 Эрве Жонкур вернулся из очередного путешествия со свежей кладкой яиц, спустя два месяца почти весь выводок был охвачен недугом. Для Лавильдье, как и для множества других мест, благоденствие которых держалось на шелковом деле, тот год показался началом конца. Наука была бессильна разгадать причины мора. Весь белый свет, до крайних своих пределов, находился точно в плену у загадочного колдовства.

— Весь, *да не весь*, — тихо молвил Бальдабью. — Да не весь, — добавил он, разбавляя на два пальца свой перно.

6

Бальдабью был тем самым человеком, который появился в здешних краях двадцать лет назад, прямиком направился к городскому голове, без объявлений вломился в его кабинет, раскинул на столе шелковый шарф цвета вечерней зари и спросил:

— Как по-вашему, что это?

— Женские фитюльки.

— Не угадали. Фитюльки, только мужские: звонкая монета.

Городской голова велел выставить его за дверь. Тогда Бальдабью построил вниз по реке прядильню, на опушке леса — ригу для разведения шелкопряда, а на развилке вивьерской дороги — церковку в честь святой Агнессы. Нанял десятка три работников, выписал из Италии диковинную деревянную машину — сплошные шестеренки да колесики — и не изрек ни слова еще семь месяцев. Потом снова нагрянул к городскому голове и выложил на стол тридцать тысяч франков крупными купюрами в аккуратных стопках.

— Как, по-вашему, что это?

— Звонкая монета.

— Не угадали. Это доказательство того, что вы олух царя небесного.

Бальдабью собрал деньги, запихнул их в суму и пошел к выходу.

Городской голова остановил его:

— Что от меня требуется, черт подери?

— Ничего — и вы станете самым богатым городским головой в округе.

Через пять лет в Лавильдье было семь прядилен; городок стал одним из главных шелководческих и ткацких центров Европы. Бальдабью не был его единственным владельцем. На этом необычном поприще он обрел последователей среди местной знати и помещиков. Каждому из них Бальдабью без утайки раскрывал секреты ремесла. Это занимало его куда больше, чем тривиальное огребание денег лопатой. Он наставлял. И щедро делился тайнами. Такой он был человек.

7

А еще Бальдабью был именно тем человеком, который восемь лет назад изменил жизнь Эрве Жонкура. В то время первые моровые пагубы уже начали изводить европейские плантации шелкопряда. Бальдабью хладнокровно обмозговал положение и пришел к выводу, что задачу не нужно решать, ее нужно обойти. План у него созрел, не хватало только исполнителя. Он понял, что нашел его, когда впервые увидел Эрве Жонкура. Тот проходил мимо кабачка Вердена в щегольском мундире пехотного подпоручика, горделиво вышагивая, как и подобает молодому офицеру в отпуске. Тогда ему минуло 24. Бальдабью зазвал его к себе, развернул перед ним атлас, пестревший экзотическими названиями, и сказал:

— Поздравляю, мой мальчик. Ты наконец-то нашел серьезную работу.

Эрве Жонкур выслушал причудливый рассказ о шелкопрядах, личинках, пирамидах и морских странствиях. А потом сказал:

— Я не могу.

— Что так?

— Через два дня у меня кончается отпуск. Я должен вернуться в Париж.

— Военная карьера?

— Да. Такова воля отца.

— Это не вопрос.

И он повел Эрве Жонкура к отцу.

— Как по-вашему, кто это? — спросил Бальдабью, без объявлений вломившись в кабинет отца.

— Мой сын.

— Взгляните получше.

Городской голова откинулся на спинку кожаного кресла и почувствовал, что потеет.

— Это мой сын Эрве Жонкур. Через два дня он вернется в Париж. Там его ждет блестящая карьера в нашей доблестной армии, если на то будет воля Господа и святой Агнессы.

— Верно. Только у Господа и других дел по горло, а святая Агнесса терпеть не может военных.

Через месяц Эрве Жонкур отправился в Египет. Он вышел в море на корабле под названием «Адель». В каютах витали ароматы камбуза, некий англичанин уверял, что бился при Ватерлоо, вечером третьего дня на горизонте, словно хмельные волны, блеснули дельфины, в рулетку без конца выпадало шестнадцать.

Вернулся он спустя два месяца — в первое воскресенье апреля, как раз к Праздничной мессе — с двумя деревянными рундуками: проложенные ватой, в них почивали тысячи яичек шелкопряда. В придачу у него накопилась уйма всевозможных историй. Но когда они остались наедине, Бальдабью спросил его лишь об одном:

— Расскажи мне о дельфинах.

— О дельфинах?

— О том, когда ты их видел.

Таким был этот Бальдабью.

Никто не знал, сколько ему лет.

8

— Весь, *да не весь*, — тихо молвил Бальдабью. — Да не весь, — добавил он, разбавляя на два пальца свой перно.

Август, время за полночь. Обычно в этот час кабачок Вердена давно уже закрывался. Перевернутые стулья рядком выстраивались на столах. Стойка и все прочее были отчищены. Оставалось погасить свет и закрыть кабачок. Но Верден терпеливо ждал. Бальдабью продолжал говорить.

Эрве Жонкур сидел напротив с потухшей сигаретой во рту и неподвижно слушал. Как и восемь лет назад, он безропотно позволял этому человеку заново выстраивать его судьбу. Тихая, отчетливая речь перемежалась ритмичными глотками перно. Бальдабью не смолкал в течение долгих минут. А напоследок заключил:

— У нас нет выбора. Если мы хотим выжить, нам нужно дотуда добраться.

Молчание.

Облокотившись о стойку, Верден поднял на них глаза.

Бальдабью целиком отдался поискам лишнего

глотка перно со дна стакана.

Эрве Жонкур примостил сигарету на краю стола, прежде чем сказать:

— А вообще, где она, эта Япония?

Бальдабью поднял палку, направив ее поверх церкви Святого Огюста.

— Прямо, не сворачивая.

Сказал он.

— И так до самого конца света.

9

В те времена Япония и впрямь была на другом конце света. Два столетия остров, собранный из островов, существовал в полном отрыве от остального мира, пренебрегая всякой связью с континентом, не подпуская к себе иноземцев. Китайский берег отстоял миль на двести, но императорский указ способствовал тому, чтобы он откатился еще дальше: указом повсеместно запрещалось строительство двух- или трехмачтовых кораблей. Следуя по-своему дальновидной логике, указ не возбранял покидать родину, зато обрекал на смерть каждого, кто посмеет вернуться. Китайские, голландские и английские купцы не раз пытались прорвать эту нелепую обособленность, но им всего-навсего удавалось сплести непрочную и чреватую опасностями сеть контрабанды. В итоге они довольствовались мизерным барышом, кучей неприятностей и расхожими байками, которые травили по вечерам в каком-нибудь порту. Там, где оплошали купцы, преуспели, бряцая оружием, американцы. В июле 1853 коммодор Мэтью К. Перри вошел в бухту Ио-

когамы с новейшей флотилией паровых судов и предъявил японцам ультиматум, в коем «уповалось» на доступность острова для иностранцев.

До этого японцы видом не видывали, чтобы морской корабль шел против ветра.

Когда семь месяцев спустя Перри вернулся за ответом на свой ультиматум, военное правительство острова пошло на подписание договора, по которому чужакам разрешался доступ в два северных порта Страны. Сверх того, им дозволялось заключать первые, весьма умеренные сделки. «Отныне море, омывающее этот остров, — объявил с некоторой помпезностью коммодор, — станет гораздо мельче».

10

Обо всем этом Бальдабью прекрасно знал. Знал он и о легенде, которая не сходила с языка у побывавших там странников. Легенда гласила, что на острове выделывают шелк, какого на всем белом свете не сыскать. Выделывают добрую тысячу лет таинственным способом, достигшим чудесного совершенства. И все бы хорошо, только Бальдабью полагал, что никакая это не легенда, а самая настоящая правда. Однажды он держал в руках платок, вытканный из шелковой японской нити. Так держат в руках воздух. И когда все, казалось, пошло прахом из-за кутерьмы с пебриной и недужными червями, он разом смекнул:

— Стоит себе остров. Шелкопряда на нем хоть отбавляй. И коли за двести лет на этот остров не ступила нога китайского купчишки или аглицкого страховщика, то никакой заразе туда вовек не дойти.

И не просто смекнул, а известил всех местных шелкоделов, собрав их в кабачке Вердена. Никто из них отродясь ни слыхивал ни о какой Японии.

— Это что же нам, за отборными кладками теперь полсвета отмахать прикажешь? И куда? У них как завидят чужака, так мигом его и вздернут.

— Вздергивали, — поправил Бальдабью.

Шелкоделы не знали, что и думать. Кое-кто возражал:

— Почему же никому до сих пор не пришло в голову закупать там кладки?

Бальдабью мог бы для порядка и приврать, напомнив честному народу, что другого такого Бальдабью им днем с огнем не найти. Но он предпочел выложить все начистоту:

— Японцы смирились с тем, что шелк придется продавать. Но не кладки яиц. Их они берегут как зеницу ока. И объявляют преступником всякого, кто осмелится вывезти кладки с острова.

Шелководы из Лавильдье в большинстве своем были людьми добропорядочными. Им и в голову бы не пришло нарушать закон в собственной стране. Зато перспектива сделать это на другом конце света, похоже, устраивала их вполне.

11

Шел 1861. Флобер заканчивал «Саламбо», электрическое освещение значилось в числе догадок, а по ту сторону Океана Авраам Линкольн вел войну, конца которой он так и не увидит. Шелководы из Лавильдье объединились в товарищество и собрали порядочную сумму, необходимую для проведения экспедиции. Они сочли разумным доверить ее Эрве Жонкуру. Когда Бальдабью спросил его согласия, в ответ он услышал вопрос:

— А все-таки, где она, эта Япония?

Прямо, не сворачивая. И так до самого конца света.

Он двинулся в путь 6 октября. Один.

На окраине Лавильдье он обнял Элен и проронил:

— Ты не должна ничего бояться.

Она была высокой и медлительной. У нее были длинные темные волосы, которые она никогда не собирала в пучок. И чарующий голос.

12

Эрве Жонкур двинулся в путь, имея при себе восемьдесят тысяч франков золотом и полученные от Бальдабью имена трех людей: китайца, голландца и японца. Он пересек границу возле Меца, проехал Вюртемберг и Баварию, въехал в Австрию, поездом добрался до Вены и Будапешта, а затем напрямую до Киева. Отмахал на перекладных две тысячи верст по русской равнине, перевалил через Уральский хребет, углубился в просторы Сибири, сорок дней колесил по ней до озера Байкал, которое в тех краях называют «морем». Прошел Амур вниз по течению вдоль китайской границы до самого Океана. Дойдя до Океана, просидел в порту Сабирк одиннадцать дней, покуда корабль голландских контрабандистов не доставил его до мыса Тэрая на западном побережье Японии. Окольными путями пересек префектуры Исикава, Тояма и Ниигата, вступил в провинцию Фукусима, дошел до города Сиракава, обогнул его с восточной стороны, двое суток дожидался человека в черном, который завязал ему глаза и провел в деревню на холмах,

где он заночевал, а наутро сторговал партию яиц шелкопряда у бессловесного человека, чье лицо скрывал шелковый платок. На закате он укрыл товар в своей поклаже, встал к Японии спиной и тронулся в обратный путь.

Не успел Эрве Жонкур выйти за околицу, как его догнал и остановил какой-то селянин. Он что-то возбужденно затараторил и с любезной решительностью повел чужестранца назад.

Эрве Жонкур не знал по-японски и потому не уяснил речей селянина. Но понял, что Хара Кэй хочет его видеть.

13

Перегородка из рисовой бумаги отъехала вбок, и Эрве Жонкур вошел. На полу, в самом дальнем углу комнаты, скрестив ноги, сидел Хара Кэй. Темная туника, никаких украшений. Единственная зримая примета власти — недвижно лежащая рядом женщина: голова покоится на его животе, глаза сомкнуты, руки скрыты в широком алом кимоно, полыхающем как пламя на пепельной циновке. Он медленно запускает пальцы в ее волосы, словно поглаживая шерстку задремавшего ценного зверька.

Эрве Жонкур пересек комнату, подождал, пока хозяин сделает ему знак, и сел напротив. Какое-то время они молчали, глядя друг другу в глаза. Из ниоткуда возник слуга, поставил перед ними две чашки чая и вновь обратился в ничто. Хара Кэй заговорил на своем языке. Его напевный голос истончался в назойливо-искусственном фальцете. Эрве Жонкур слушал. Он не отрывал глаз от глаз Хара Кэя и лишь на миг, почти непроизвольно, опустил их на женское лицо.

Это было лицо девочки.

Он поднял глаза.

Хара Кэй прервался, взял одну из чашек, поднес ее к губам и, помедлив, произнес:

— Попробуйте рассказать о себе.

Он произнес это по-французски, слегка растягивая гласные, хрипловатым, искренним голосом.

14

Недоступнейшему из японцев, хозяину всего, что пришельцам удавалось вывезти с чужедальнего острова, попытался Эрве Жонкур рассказать, кто он такой. Он говорил на родном языке, говорил не торопясь, даже не зная наверное, способен ли Хара Кэй понять его. Словно по наитию отбросил он излишние опасения и без прикрас и умолчаний поведал всю правду. Просто и ясно. Монотонным голосом и скупыми жестами он выстраивал в общий ряд незначительные подробности и главные события, подражая гипнотическому порядку меланхолично-сухой описи уцелевших после пожара вещей. Хара Кэй слушал — черт его лица не тронул и слабый налет выразительности. Он сосредоточенно смотрел на губы Эрве Жонкура, точно это были последние строки прощального письма. В комнате царили такая тишина и неподвижность, что происшедшее вдруг, при всей своей ничтожности, показалось чем-то неимоверным.

Внезапно,

без малейшего движения,

лежащая девушка
открыла глаза.

Не прерываясь, Эрве Жонкур бессознательно устремил на нее взгляд, и вот что он увидел, по-прежнему не обрывая речи: у этих глаз *не было восточного разреза*; и еще: они взирали на него *с пронзительной остротой*, как будто с самого начала неустанно следили за ним из-под век. Эрве Жонкур отвел взгляд со всей непринужденностью, на какую был способен, стараясь продолжить рассказ и не допустить излишнего перепада в голосе. Он прервался, лишь когда его взгляд упал на чашку чая, стоявшую перед ним на полу. Взял ее одной рукой, поднес к губам, отпил маленький глоток. И снова заговорил, ставя чашку на прежнее место.

15

Франция, хождения за море, дух шелковицы из Лавильдье, поезда на паровой тяге, голос Элен. Эрве Жонкур продолжал рассказывать о своей жизни, чего еще не делал никогда в жизни. Девушка продолжала смотреть на него; ее неистовый взгляд властно принуждал всякое его слово звучать с особой значимостью. Когда вся комната сползла в полную неподвижность, из ее кимоно неожиданно выпросталась рука и бесшумно скользнула по циновке. Эрве Жонкур видел, как это бледное пятно дотянулось до границы его зрительного поля, коснулось чашки Хара Кэя, а затем, необъяснимым образом, заскользило дальше, до следующей чашки — той самой, из которой неотвратимо пил *он сам*, — без колебаний взялось за нее, легонько вздело и унесло с собой. Хара Кэй ни на секунду не отвлекался от невозмутимого созерцания губ Эрве Жонкура.

Девушка чуть приподняла голову.

Впервые отвела она взгляд от Эрве Жонкура и направила его на чашку.

Медленно повернула чашку, пока губы в точно-

сти не совпали с тем местом, где пил он.
Прищурив глаза, сделала глоток.
Отстранила чашку от губ.
Спрятала руку в складках одежды.
Склонила голову на живот Хара Кэя.
Пристально глядя в глаза Эрве Жонкура.

16

Эрве Жонкур говорил еще долго. Он приумолк, лишь когда Хара Кэй отвел от него взгляд и еле заметно кивнул.

Молчание.

Слегка растягивая гласные, хрипловатым, искренним голосом Хара Кэй произнес по-французски:

— Надумаете вернуться — приятно будет вас видеть.

Впервые он улыбнулся.

— Вместо яичек шелкопряда вам подсунули рыбью икру: грош ей цена.

Эрве Жонкур потупился. Перед ним стояла чашка чая. Он взял ее и, вращая, начал осматривать, словно выискивал что-то на цветной каемке. Найдя, что искал, он пригубил чашку и выпил ее до дна. Затем поставил чашку перед собой и сказал:

— Я знаю.

Хара Кэй весело засмеялся.

— Оттого-то и расплатились фальшивым золотом?

— По товару и монета.

Хара Кэй посерьезнел.

— Вы получите то, за чем пришли, когда покинете эти места.

— А вы получите ваше золото, когда я покину этот остров целым и невредимым. Вот вам мое слово.

Эрве Жонкур не стал дожидаться ответа. Он поднялся, отступил назад и поклонился.

Напоследок он увидел ее глаза: совершенно безмолвные, они неотрывно смотрели в его глаза.

17

Через шесть дней Эрве Жонкур сел в Такаоке на корабль голландских контрабандистов, доставивший его в Сабирк. Оттуда, вдоль китайской границы, он поднялся до озера Байкал, проделал четыре тысячи верст по сибирским просторам, перевалил через Уральский хребет, добрался до Киева, поездом проехал всю Европу с востока на запад и после трехмесячного путешествия прибыл во Францию. В первое воскресенье апреля — как раз к Праздничной мессе — он показался у въезда в Лавильдье. Остановился, возблагодарил Господа и вступил в город, считая шаги, чтобы у каждого шага было свое имя и чтобы уже не забыть их никогда.

— Ну и какой он, конец света? — спросил у него Бальдабью.

— Невидимый.

В подарок жене он привез шелковую тунику, которую стеснительная Элен так ни разу и не надела. Возьмешь ее в руки — и кажется, держишь в руках воздух.

18

Яичные кладки, привезенные Эрве Жонкуром из Японии, оказались вполне здоровыми, после того как их высадили на множество мелко нарезанных листьев тутового дерева. Шелк в округе Лавильдье выдался в тот год каких свет не видал: и количеством и добротностью. Решили открыть еще две прядильни, а Бальдабью соорудил клуатр возле церковки Святой Агнессы. Он почему-то вообразил его круглым и заказал проект испанскому архитектору Хуану Бенитесу, построившему немало арен для боя быков.

— Да, и никакого песка: посредине мы разобьем сквер. И, если можно, у входа вместо бычьих голов — дельфиньи.

— Дельфиньи, сеньор?

— Ты рыбу когда-нибудь видел, Бенитес?

Эрве Жонкур подбил кое-какие счета и обнаружил, что богат. Он прикупил тридцать акров земли к югу от своих владений и все лето занимался разметкой парка для усладительных прогулок в тиши и спокойствии. Парк представлялся ему невидимым, как тот конец света. По утрам он

хаживал к Вердену, где узнавал о местных новостях и просматривал газеты, доставленные из Парижа. Вечерами допоздна засиживался вместе с Элен на открытой веранде своего дома. Она читала вслух, и он чувствовал себя счастливым, думая про себя, что на всем белом свете нет голоса краше, чем ее голос.

4 сентября 1862 ему исполнилось 33 года. Жизнь струилась перед его взором как дождь: легко и безмятежно.

19

— Ты не должна ничего бояться.

Раз уж так решил Бальдабью, Эрве Жонкур снова отправился в Японию в первый день октября. Он пересек границу возле Меца, проехал Вюртемберг и Баварию, въехал в Австрию, поездом добрался до Вены и Будапешта, а затем напрямую до Киева. Отмахал на перекладных две тысячи верст по русской равнине, перевалил через Уральский хребет, углубился в просторы Сибири, сорок дней колесил по ней до озера Байкал, которое в тех краях называют «окаянным». Прошел Амур вниз по течению вдоль китайской границы до самого Океана. Дойдя до Океана, просидел в порту Сабирк одиннадцать дней, покуда корабль голландских контрабандистов не доставил его до мыса Тэрая на западном побережье Японии. Окольными путями миновал префектуры Исикава, Тояма и Ниигата, вступил в провинцию Фукусима, дошел до города Сиракава, обогнул его с восточной стороны, двое суток дожидался человека в черном, который завязал ему глаза и провел в деревню Хара Кэя. Когда он открыл глаза,

перед ним стояли двое слуг. Они взяли его вещи и довели до опушки леса. Там они указали ему на тропинку и оставили чужеземца одного. Эрве Жонкур зашагал в тени, отхваченной у дневного света наседавшими со всех сторон деревьями. Он остановился, когда зеленая завеса на обочине вдруг на мгновение приоткрылась, словно окно. Метрах в тридцати книзу виднелось озеро. На берегу, спиной к нему, сидел Хара Кэй, а рядом — женщина в оранжевом платье, с распущенными по плечам волосами. Стоило Эрве Жонкуру взглянуть на нее, как она медленно повернулась, ровно на то короткое время, которого хватило, чтобы поймать его взгляд.

У ее глаз не было восточного разреза; ее лицо было лицом девочки.

Эрве Жонкур продолжил путь в чаще леса и, выйдя, очутился на самой кромке суши. Чуть впереди, на корточках сидел одетый в черное Хара Кэй. Сидел не двигаясь, один. Вблизи лежало сброшенное на землю оранжевое платье и пара соломенных сандалий. Эрве Жонкур подошел. Легкие покатые волны подгоняли озерную воду к берегу, будто присланные откуда-то издалека.

— Мой французский друг, — вымолвил Хара Кэй, не оборачиваясь.

Прошел не один час, пока они говорили и молчали, сидя друг подле друга. Затем Хара Кэй встал. Эрве Жонкур последовал за ним. Неуловимым движением, прежде чем ступить на тропинку, он выронил одну из своих перчаток рядом с оранжевым платьем, брошенным на берегу. В селение они пришли уже под вечер.

20

Эрве Жонкур гостил у Хара Кэя четыре дня. И жил как при дворе у короля. Все в том селении существовало ради этого человека; едва ли не каждое движение на окружных холмах свершалось, дабы охранить или ублажить его. Прочая жизнь кипела приглушенно, копошась украдкой, точно загнанный в логово зверь. Мир будто отдалился на века.

В распоряжении Эрве Жонкура был дом и пятеро слуг, сопровождавших его повсюду. Ел он один, под сенью цветущего дерева небывалой красоты. Дважды в день, с особой торжественностью, подавали чай. Вечером Эрве Жонкура приводили в просторную комнату с каменным полом, где совершался обряд омовения. Три пожилые женщины — на лицах подобие восковых масок — поливали водой и обтирали его тело теплой шелковой простыней. Руки у них были узловатые, а прикосновения — легкие.

Утром второго дня Эрве Жонкур наблюдал, как в селении появился белый человек. За ним катились две телеги, доверху груженные большими

деревянными ящиками. Это был англичанин. Он приехал не покупать. Он приехал продавать.

— Оружие, месье. А вы?

— Я покупаю. Шелковичных червей.

Ужинали вместе. Англичанину было что рассказать. Восемь лет мерил он версты между Европой и Японией. Эрве Жонкур долго слушал, а под конец спросил:

— Не знакома ли вам молодая женщина, полагаю европейка, белая — что живет здесь?

Англичанин продолжал есть с непроницаемым видом.

— В Японии не бывает белых женщин. В Японии нет ни одной белой женщины.

На другой день он уехал с целой подводой золота.

21

Эрве Жонкур снова увидел Хара Кэя лишь утром третьего дня. Ни с того ни с сего пятеро его слуг, как по волшебству, улетучились, и через несколько мгновений возник он сам. Человек, ради которого вековали свой век здешние селяне, постоянно перемещался в неком пустом пузыре. Как будто негласный указ предписывал всему свету не нарушать его покоя.

Они взошли по косогору на отлогую поляну. Небо в вышине разлиновали десятки голубых большекрылых птиц.

— Местные жители смотрят на птиц и по их полету угадывают будущее.

Сказал Хара Кэй.

— Помню, в детстве отец привел меня на такую поляну, вложил в мои руки свой лук и велел стрелять по птицам. Я выстрелил, и голубая большекрылая птица камнем упала на землю. Угадай полет твоей стрелы, если хочешь знать, что ждет тебя впереди, сказал мне отец.

Птицы неторопливо парили в небе, то поднимаясь, то опускаясь, будто старательно пытались

заштриховать его крыльями.

Они сошли в деревню при странном свете дня, казавшегося вечером. У дома Эрве Жонкура они распрощались. Хара Кэй повернулся и не спеша направился вниз по дорожке, сбегавшей вдоль реки. Эрве Жонкур задержался на пороге, глядя ему вслед. Он подождал, пока Хара Кэй отойдет шагов на двадцать, и произнес:

— Когда вы скажете мне, кто эта девушка?

Хара Кэй шел не останавливаясь, мерным шагом, в котором не было и тени усталости. Кругом царила полная тишина и опустошенность. Куда бы ни направлялся этот человек, он, словно по особому предписанию, погружался в совершенное и безграничное уединение.

22

Утром последнего дня Эрве Жонкур вышел побродить по деревне. Мужчины на его пути отвешивали поклоны; женщины, потупив взгляд, расплывались в улыбке. Он сообразил, что жилище Хара Кэя где-то рядом, когда разглядел громадную вольеру, вместившую немыслимое множество всеразличных птиц: чудеса, да и только. В разговоре с ним Хара Кэй признался, что выписывал их со всех концов света. Среди птиц были и такие, что стоили поболе всего шелка, который выткали бы в Лавильдье за год. Эрве Жонкур неподвижно смотрел на это великолепное безумие. Ему вспомнилась одна книга, в которой было сказано, что восточные мужчины, воздавая должное верности любимых женщин, имели обыкновение дарить им не драгоценности, но редких и восхитительных птиц.

Обитель Хара Кэя, казалось, утопала в озере тишины. Эрве Жонкур подошел и остановился у входа. Дверей не было вовсе, а на бумажных стенах появлялись и пропадали тени, не поднимавшие ни малейшего шума. Все это едва ли

напоминало жизнь. Попытайся он выразить увиденное одним словом, это было бы слово «театр». Эрве Жонкур так и остолбенел у самого дома в ожидании неизвестно чего. За то время, что он предоставил судьбе, лишь тени и безмолвие просачивались за пределы этой необычной сцены. Эрве Жонкур повернулся и ходко пошел к собственному дому. Опустив голову, он смотрел себе под ноги, ибо это помогало ему не думать.

23

Вечером Эрве Жонкур собрал кладь. Потом дал препроводить себя для обряда омовения в комнату с каменным полом. Он лег, закрыл глаза и подумал о большой вольере — безрассудном залоге любви. На глаза ему положили влажное полотенце. Раньше этого никогда не делали. Он хотел было убрать полотенце, но чья-то рука овладела его рукой и остановила ее. Это не была старая рука старухи.

Эрве Жонкур чувствовал, как по его телу струится вода: сначала по ногам, затем вдоль рук и по груди. Вода словно масло. А вокруг — непривычная тишина. Он ощутил легкое прикосновение шелковой вуали. И женских рук — женских, нежно обтиравших его кожу повсюду; тех самых рук и того шелка — сотканного из пустоты. Он не шевельнулся, даже когда руки взметнулись с плеч на шею, а пальцы — шелк и пальцы — дотянулись до губ, осторожно притронулись к ним, всего только раз — и растаяли.

Напоследок Эрве Жонкур почувствовал, как шелковая вуаль взлетела над ним и упорхнула

без следа. И была рука: она раскрыла его руку и что-то вложила в ладонь.

Он долго ждал в тишине, не шелохнувшись. Затем осторожно снял влажное полотенце с глаз. В комнате почти не было света. Кругом ни души. Он встал, взял сложенную на полу тунику, надел ее, вышел из комнаты и, дойдя до спальни, лег на циновку. Повернув голову, он стал наблюдать за тонким дрожащим пламенем лампы. И бережно остановил Время — на все то время, что хотел.

После этого уже ничего не стоило разжать ладонь и увидеть листок. Маленький. Несколько иероглифов вытянулись в столбик. Черные чернила.

24

Ранним утром следующего дня Эрве Жонкур пустился в обратный путь. В тайниках своей поклажи он увозил тысячи яичек шелкопряда — будущее Лавильдье, работу для сотен людей и богатство для десятка из них. Там, где дорога сворачивала влево, скрывая за холмистым очерком деревню, он остановился, не обращая внимания на пару провожатых. Спешился и постоял у обочины, глядя на домики, взбиравшиеся по склону холма.

Спустя шесть дней Эрве Жонкур сел в Такаоке на корабль голландских контрабандистов, доставивший его в Сабирк. Оттуда, вдоль китайской границы, он поднялся до озера Байкал, проделал четыре тысячи верст по сибирским просторам, перевалил через Уральский хребет, добрался до Киева, поездом проехал всю Европу с востока на запад и после трехмесячного путешествия прибыл во Францию. В первое воскресенье апреля — как раз к Праздничной мессе — показался он у въезда в Лавильдье. Навстречу ему выбежала Элен, и он ощутил запах ее кожи, когда обнял

жену, и услышал ее бархатный голос, когда она сказала:

— Ты вернулся.

Нежно.

— Ты вернулся.

25

В Лавильдье текла размеренным чередом нехитрая, обыденная жизнь. Она омывала Эрве Жонкура сорок один день. На сорок второй он не выдержал, достал маленькую укладку из своего дорожного сундука, вынул карту Японии, раскрыл ее и взял упрятанный в ней листок. Несколько иероглифов вытянулись в столбик. Черные чернила. Он сел за письменный стол и долго-долго на них смотрел.

Бальдабью он застал у Вердена, за бильярдом. Бальдабью всегда играл один — против самого себя. Такие вот партии. Здоровяк против калеки, говаривал он сам. Первый удар он делал как обычно, а второй — одной рукой. В тот день, когда победит калека, прибавлял Бальдабью, я навсегда уеду из этих мест. Годами калека проигрывал.

— А что, Бальдабью, нет ли у нас кого, кто маракует по-японски?

Калека закрутил от двух бортов с откатом.

— Спроси у Эрве Жонкура — он все знает.

— Я в этом ни полстолько не смыслю.

— Ты же у нас японец.

— А толку.

Здоровяк согнулся над кием и всадил шестиочковый прямой.

— Тогда остается мадам Бланш. У нее магазин тканей в Ниме. Над магазином бордель. Тоже ее. Она богачка. И японка.

— Японка? А как ее сюда занесло?

— Главное, у самой мадам об этом не спрашивай, если хочешь что-нибудь разузнать. А, че-ерт.

Калека только что смазал четырнадцатиочковый от трех бортов.

26

Своей Элен Эрве Жонкур сказал, что едет в Ним по делам. И что вернется в тот же день.

Он поднялся во второй этаж магазина тканей по рю Москат, 12 и спросил мадам Бланш. Ждать пришлось долго. Гостиная была обставлена по случаю праздника, начавшегося много лет назад. С тех пор праздник так и не кончался. Все девушки были как на подбор: молоденькие и француженки. Тапер наигрывал под сурдинку мотивчики, отдававшие Россией. В конце каждого из них он запускал в волосы правую руку и приговаривал себе под нос:

— Вуаля.

27

Эрве Жонкур ждал часа два. Затем его провели по коридору до последней двери. Он открыл ее и вошел.

Мадам Бланш сидела в широком кресле у окна. На ней было легкое кимоно, совершенно белое. Крохотные ярко-голубые цветки увивали ее пальцы, словно кольца. Черные лоснящиеся волосы, безукоризненное восточное лицо.

— Неужели вы и впрямь столь богаты, что вообразили, будто можете лечь со мною в постель?

Эрве Жонкур застыл, сжимая шляпу в руке.

— Я намерен просить вас об одной любезности. Цена не имеет значения.

Он извлек из внутреннего кармана пиджака свернутый вчетверо листок и протянул ей.

— Мне нужно знать, что здесь написано.

Мадам Бланш и бровью не повела. Полусомкнутые губы изготовились к улыбке.

— Прошу вас, мадам.

У нее не было никаких оснований выполнять его просьбу. И все же она взяла листок и, развернув, заглянула в него. Вскинула глаза на Эрве

Жонкура и снова их опустила. Медленно сложила листок. Когда она подалась вперед, чтобы вернуть листок, кимоно приоткрылось у нее на груди. Эрве Жонкур успел заметить, что под ним ничего нет и что кожа у нее молодая и белоснежная.

— Вернитесь — или я умру.

Она произнесла это холодным тоном, глядя Эрве Жонкуру прямо в глаза и не выказав ни малейшего чувства.

Вернитесь — или я умру.

Эрве Жонкур убрал листок во внутренний карман пиджака.

— Благодарю.

Коротко поклонившись, он повернулся, подошел к двери и собрался было положить на стол пачку банкнот.

— Пустое.

Эрве Жонкур замялся.

— Я не о деньгах. Я о той женщине. Пустое. Она не умрет. И вы это знаете.

Не оборачиваясь, Эрве Жонкур положил банкноты на стол, отворил дверь и вышел.

28

Бальдабью говорил, что за ласками мадам Бланш иные приезжали из Парижа. Воротившись в столицу, они вдевали в петлицы фраков крохотные голубые цветки. Те самые, что неизменно увивали ее пальцы, словно кольца.

29

Тем летом Эрве Жонкур впервые отвез жену на Ривьеру. В Ницце они поселились на две недели в гостинице, облюбованной англичанами и знаменитой своими музыкальными вечерами. Элен внушила себе, что в таком чудесном месте они сумеют зачать ребенка, которого напрасно дожидались много лет. Вместе они решили, что это будет мальчик. И что его нарекут Филиппом. В светской жизни курортного городка они участвовали весьма умеренно, зато потом, уединившись у себя в номере, вовсю потешались над разными чудаками, встреченными за день. Как-то вечером, на концерте, они познакомились с одним поляком, торговцем кожами. Он утверждал, что был в Японии.

Накануне отъезда Эрве Жонкур внезапно проснулся среди ночи. Было еще совсем темно. Он встал и подошел к кровати Элен. Когда она открыла глаза, он услышал, как его голос прошептал:

— Я буду любить тебя вечно.

30

В начале сентября шелководы Лавильдье устроили сход, чтобы порешить, как быть дальше. Правительство отрядило в Ним молодого биолога для изучения повальной болезни, приводившей в негодность личинки французского шелкопряда. Биолога звали Луи Пастер. Он работал с микроскопами, в которые можно было увидеть невидимое. Поговаривали, будто он уже добился необыкновенных результатов. Из Японии доходили слухи о предстоящей гражданской войне; ее разжигали силы, выступавшие против доступа в Страну иноземцев. В депешах французского консульства, недавно открытого в Иокогаме, рекомендовалось воздержаться от установления торговых отношений с островом — до лучших времен. Склонные к осмотрительности и чувствительные к немалым расходам, в которые выливалась каждая негласная экспедиция в Японию, многие из именитых граждан Лавильдье высказались за то, чтобы приостановить поездки Эрве Жонкура и положиться в этом году на вполне добротные партии шелкопряда от крупных поставщиков с

Ближнего Востока. Бальдабью слушал, не проронив ни слова. Под конец настал его черед. Тогда, водрузив свою бамбуковую палку на стол, он обратил взгляд на сидевшего перед ним человека. И стал ждать.

Эрве Жонкур знал о пастеровских изысканиях и читал сообщения, поступавшие из Японии, но говорить об этом всякий раз отказывался. Он почти всецело посвящал себя проекту будущего парка, который собирался разбить вокруг своего дома. В укромном уголке кабинета Эрве Жонкур хранил сложенный вчетверо листок с несколькими иероглифами в столбик — черные чернила. У него был солидный счет в банке, он вел покойный образ жизни и питал осознанные надежды на то, что вскоре станет отцом. Когда Бальдабью обратил на него взгляд, он лишь сказал:

— Тебе решать, Бальдабью.

31

Эрве Жонкур отправился в Японию в начале октября. Он пересек границу возле Меца, проехал Вюртемберг и Баварию, въехал в Австрию, поездом добрался до Вены и Будапешта, а затем напрямую до Киева. Отмахал на перекладных две тысячи верст по русской равнине, перевалил через Уральский хребет, углубился в просторы Сибири, сорок дней колесил по ней до озера Байкал, которое в тех краях называют «остатним». Прошел Амур вниз по течению вдоль китайской границы до самого Океана. Дойдя до Океана, просидел в порту Сабирк десять дней, покуда корабль голландских контрабандистов не доставил его до мыса Тэрая на западном побережье Японии. Возникшая перед ним Страна пребывала в беспокойном ожидании войны, которая никак не могла разразиться. Не один день он провел в пути, отбросив всегдашние предосторожности, ибо география властей и проверок точно рассеялась накануне взрыва, грозившего полностью ее перекроить. В Сиракаве он встретил человека, который должен был отвести его к Хара Кэю. За два

дня они доехали верхом до окрестностей деревни. Эрве Жонкур пошел в деревню пешком, чтобы весть о его прибытии докатилась вперед него.

32

Эрве Жонкура проводили на край деревни, в один из последних домов, на взгорке, прямо у леса. Его дожидались пятеро слуг. Он препоручил им багаж и вышел на веранду. На противоположном конце деревни виднелся дворец Хара Кэя. Немногим больше остальных домов, дворец был окружен гигантскими кедрами, хранившими его уединение. Эрве Жонкур пристально смотрел на этот чертог, словно до самого горизонта ничего больше не было. И вот он увидел, как

внезапно

небо над чертогом окропилось сотнями взлетевших птиц; будто исторгнутая из земли, невиданная стая разлеталась повсюду, ошеломленная и обезумевшая, щебеча и галдя, — крылатый залп, цветное облако, выпущенное в яркий свет, звонкий фейерверк испуганных звуков, бегущая музыка, полет в небеса.

Эрве Жонкур улыбнулся.

33

Деревня засуетилась, как ошалевший муравейник. Люди носились и вопили, таращась на небо и провожая взглядом птиц-беглецов. С давних пор птицы являлись гордостью их Господина, и вот теперь они обернулись летящей по небу насмешкой. Эрве Жонкур вышел из дома и не спеша направился через всю деревню, глядя вперед с беспредельным спокойствием. Казалось, никто его не замечает, и он, казалось, не замечает ничего. Под ногами у него бежала золотая нить, пронизавшая уток ковра, вытканного безумцем. Он одолел стянувший реку мост, спустился к исполинским кедрам, вошел в их тень и вышел из тени. Прямо перед собой он увидал огромную вольеру: створки распахнуты настежь, внутри — пусто. А напротив вольеры — женщину. Не глядя по сторонам, Эрве Жонкур все так же медленно прошел дальше и остановился, лишь когда подступил к ней совсем близко.

У ее глаз не было восточного разреза; ее лицо было лицом девочки.

Эрве Жонкур шагнул ей навстречу, протянул

руку и разжал ладонь. На ладони покоился сложенный вчетверо листок. Она скользнула по нему взглядом, и каждый уголок ее лица распустился в улыбку. Затем вложила свою ладонь в ладонь Эрве Жонкура, нежно стиснула ее, чуть-чуть помедлила и убрала руку, сжимая в пальцах обошедший полсвета листок. Не успела она затаить его в складках платья, как раздался голос Хара Кэя.

— Добро пожаловать, мой французский друг.

Хара Кэй стоял в нескольких шагах от них. Темное кимоно, черные волосы идеально собраны на затылке. Он подошел. И перевел взгляд на вольеру, осмотрев одну за другой раскрытые створки.

— Они вернутся. Ведь это так трудно — устоять перед искушением вернуться, не правда ли?

Эрве Жонкур не ответил. Хара Кэй заглянул ему в глаза и вкрадчиво произнес:

— Пойдемте.

Эрве Жонкур последовал за ним. Пройдя немного, он обернулся к девушке и слегка поклонился.

— Надеюсь скоро увидеть вас.

Хара Кэй шел не останавливаясь.

— Она не знает вашего языка.

Сказал он.

— Пойдемте.

34

Вечером Хара Кэй пригласил Эрве Жонкура к себе. В доме уже собрались несколько поселян. Женщины были одеты с особым изяществом: густо набеленные лица полыхали огненными румянами. Пили саке. Из длинных деревянных трубок курили едкий табак с дурманящим запахом. В какой-то момент появились шуты и человек, забавлявший гостей тем, что искусно подражал голосам людей и животных. Три старухи играли на струнных инструментах и непрестанно улыбались. Хара Кэй сидел на почетном месте в темном облачении и с босыми ногами. Рядом, в сияющем шелковом платье — женщина с лицом девочки. Эрве Жонкура усадили в другом конце комнаты. Овеянный приторным ароматом назойливых женщин, он растерянно улыбался мужчинам: те наперебой потчевали его невесть какими баснями, понять которые он был не в состоянии. Стократно он искал ее глаза, и стократно она находила его. То был особый грустный танец, сокровенный и бессильный. Эрве Жонкур кружился в нем до поздней

ночи, затем встал, пробормотал по-французски извинения, кое-как отделался от увязавшейся за ним женщины и, пробившись сквозь клубы дыма и скопище тарабаривших говорунов, двинулся к выходу. У порога он в последний раз взглянул на нее. Она не сводила с него безмолвных глаз, отдаленных на столетия.

Эрве Жонкур брел по деревне, вдыхая свежий ночной воздух и плутая в проулках, поднимавшихся по откосу холма. Подойдя к своему дому, он увидел зажженный фонарь, трепетавший за бумажной перегородкой. Он вошел и обнаружил стоявших перед ним двух женщин. Совсем юную девушку восточной наружности, одетую в простое белое кимоно. И ее. В глазах играет лихорадочное веселье. Не дав ему опомниться, она взяла его руку, поднесла ее к своему лицу, легонько коснулась губами, а затем, крепко стиснув, опустила в ладони застывшей рядом девушки и на мгновение придержала, не позволив ей вырваться. Потом она убрала свою руку, отступила на два шага, схватила фонарь, мельком заглянула Эрве Жонкуру в глаза и выбежала. Фонарь был оранжевым. Крохотный бегущий светлячок, он пропал в ночи.

35

Эрве Жонкур прежде никогда не видел эту девушку; сказать по правде, он не увидел ее и той ночью. В непроглядной комнате он ощутил красоту ее тела, познал ее руки и уста. Он ласкал ее целую вечность, как не ласкал ни разу в жизни, отдавшись на произвол непривычной медлительности. В темноте ничего не стоило любить ее и не любить *ее*.

Незадолго до рассвета девушка встала, набросила белое кимоно и вышла.

36

Наутро перед домом Эрве Жонкура поджидал человек Хара Кэя. При нем было пятнадцать листов тутовой коры, сплошь усеянной мельчайшими яичками цвета слоновой кости. Эрве Жонкур тщательно осмотрел каждый лист, сговорился в цене и заплатил сусальным золотом. На прощанье он дал понять человеку, что хочет повидаться с Хара Кэем. В ответ человек замотал головой. Жестами он сообщил Эрве Жонкуру, что Хара Кэй покинул деревню на заре, вместе со свитой, и что никто не знает, когда он вернется.

Эрве Жонкур бросился через всю деревню к жилищу Хара Кэя. Там были одни слуги. На любой вопрос они только качали головами. Дом выглядел опустевшим. И сколько ни всматривался Эрве Жонкур, даже в самых незначительных мелочах он не увидел и намека на оставленное для него послание. По пути в деревню он проходил мимо огромной вольеры. Створки снова были на запоре. Внутри, отгороженные от неба, порхали сотни птиц.

37

Еще два дня Эрве Жонкур ждал хоть какого-нибудь знака. Затем тронулся в путь.

Примерно в получасе езды от деревни дорога вывела его к лесу, из которого доносился необыкновенный серебристый перезвон. Сквозь густую листву проступали сотни темных пятнышек обосновавшейся на отдых стаи птиц. Ничего не говоря своим проводникам, Эрве Жонкур осадил коня, достал из-за пояса револьвер и дал в воздух шесть выстрелов. Смятенная стая взмыла в небо, подобно облаку дыма, выпущенному пожаром. Облако было таким большим, что виднелось спустя несколько дней пути. Оно чернело в небе уже без всякой на то причины. Если не считать его полнейшей растерянности.

38

Через шесть дней Эрве Жонкур сел в Такаоке на корабль голландских контрабандистов, доставивший его в Сабирк. Оттуда, вдоль китайской границы, он поднялся до озера Байкал, проделал четыре тысячи верст по сибирским просторам, перевалил через Уральский хребет, добрался до Киева, поездом проехал всю Европу с востока на запад и после трехмесячного путешествия прибыл во Францию. В первое воскресенье апреля — как раз к Праздничной мессе — он показался у въезда в Лавильдье. Остановил экипаж и какое-то время просидел без движения, с опущенными занавесками. Потом вышел и медленно потащился вперед под грузом беспредельной усталости.

Бальдабью спросил у него, видел ли он войну.

— Видел, да не ту, что ждал, — прозвучало в ответ.

Вечером он лег в постель Элен и ласкал ее с таким нетерпением, что она испугалась и не могла сдержать слез. Когда он заметил их, она улыбнулась через силу.

— Просто… я так счастлива, — сказала она

тихо.

39

Эрве Жонкур передал яичную кладку шелководам Лавильдье. После этого он несколько дней кряду не показывался в городке, презрев даже ритуальный променад к Вердену. В первых числах мая, ко всеобщему недоумению, он купил заброшенный дом Жана Бербека, того самого, что когда-то умолк и не заговорил уже до самой смерти. Все решили, что Эрве Жонкур надумал сделать из дома новую лабораторию. А он и мебель выносить не стал. Только наведывался туда время от времени и подолгу оставался один в этих комнатах. Неизвестно зачем. Однажды он привел в дом Бальдабью.

— А ты не знаешь, почему Жан Бербек перестал говорить? — спросил у него Эрве Жонкур.

— Об этом и о многом другом он так ничего и не сказал.

Спустя годы на стенах по-прежнему висели картины, а в сушилке у раковины — старые кастрюли. Невеселая картина: будь его воля, Бальдабью охотно бы ретировался. Но Эрве Жонкур как зачарованный пялился на покрытые

плесенью мертвые стены. Он явно там что-то выискивал.

— Видно, жизнь иногда поворачивается к тебе таким боком, что и сказать-то больше нечего.

Сказал он.

— Совсем нечего.

Бальдабью не особо тяготел к серьезным разговорам. Он молчаливо разглядывал кровать Жана Барбека.

— В этакой берлоге у кого хочешь язык отнимется.

Долгое время Эрве Жонкур продолжал вести затворнический образ жизни. Он редко показывался на людях и целыми днями работал над проектом парка, который рано или поздно разобьет вокруг дома. Он покрывал лист за листом странными рисунками, похожими на машины. Как-то под вечер Элен спросила у него:

— Что это?

— Это вольера.

— Вольера?

— Да.

— А для чего она?

Эрве Жонкур не отрывал взгляда от рисунков.

— Ты запустишь в нее птиц, сколько сможешь, а когда в один прекрасный день почувствуешь

себя счастливой, откроешь вольеру — и будешь смотреть, как они улетают.

40

В конце июля Эрве Жонкур поехал с женой в Ниццу. Они поселились в маленьком домике на берегу моря. Так захотела Элен. Она не сомневалась, что покой уединенного места развеет хандру, как видно овладевшую мужем. Однако ей хватило проницательности выдать это за свой невольный каприз, подарив любимому сладостную возможность простить ее.

Три недели, проведенные ими вместе, были наполнены простым, неуязвимым счастьем. Когда спадала жара, они нанимали дрожки и забавы ради разъезжали по окрестным деревням, притаившимся на взгорье, откуда море казалось разноцветным картонным задником. Временами они выбирались в город — на концерт или светский раут. Как-то раз приняли приглашение одного итальянского барона, устроившего по случаю своего шестидесятилетия званый вечер в «Отель Сюис». За десертом Эрве Жонкур нечаянно поднял глаза на Элен. Она сидела напротив, рядом с обольстительным английским джентльменом: в петлице его фрака красовалась

гирлянда из крохотных голубых цветков. Эрве Жонкур увидел, как он склонился к Элен и что-то шепчет ей на ухо. Элен залилась упоительным смехом, коснувшись кончиками волос плеча английского джентльмена. В этом движении не было ни капли замешательства, но лишь обескураживающая точность. Эрве Жонкур опустил взгляд на тарелку. Он не мог не подметить, что его рука, зажавшая серебряную десертную ложку, неоспоримо дрожит.

Погодя, в фюмуаре, шатаясь от чрезмерной дозы хмельного, Эрве Жонкур подошел к незнакомому господину. Тот сидел в одиночестве за столом, осоловело вылупив глаза. Эрве Жонкур нагнулся к нему и произнес с расстановкой:

— Должен сообщить вам, сударь, одно весьма важное известие. Мы все отвратительны. Мы все на редкость отвратительны.

Господин был родом из Дрездена. Он торговал телятиной и плохо понимал по-французски. Господин разразился оглушительным смехом и закивал головой. Казалось, он уже никогда не остановится.

Эрве Жонкур и Элен пробыли на Ривьере до начала сентября. Им жаль было покидать маленький домик на берегу моря, ведь в его стенах

они почувствовали легкое дыхание любви.

41

Бальдабью явился к Эрве Жонкуру спозаранку. Они уселись в тени портика.

— Парк-то не сказать чтобы ах.

— Я к нему еще не приступал, Бальдабью.

— Ах.

Бальдабью никогда не курил по утрам. Он вынул трубку, набил ее табаком и раскурил.

— Пообщался я с этим Пастером. Дельный малый. Он мне все показал. Он знает, как отличать больные яички от здоровых. Правда, еще не умеет их лечить. Зато может отбирать здоровые. И говорит, что где-то треть нашего выводка вполне здорова.

Пауза.

— Слыхал — в Японии-то война. На этот раз без осечки. Англичане снабжают оружием правительство, голландцы — восставших. Похоже, они сговорились. Пускай, мол, те хорошенько выложатся, а уж мы потом приберем все к рукам и поделим между собой. Французское консульство знай себе приглядывается. Они только и делают, что приглядываются. Эти умники разве депеши

горазды строчить про всякие там смертоубийства да про иностранцев, заколотых как бараны.

Пауза.

— Кофе еще найдется?

Эрве Жонкур налил ему кофе.

Пауза.

— Те двое итальянцев, Феррери и еще один, что прошлым годом подались в Китай… вернулись с отборным товаром, кладка — пятнадцать тысяч унций. В Болле уже взяли партию: говорят, хоть куда. Через месяц снова едут… Предложили нам хорошую сделку, по божеским ценам, одиннадцать франков за унцию, полная страховка. Люди верные, за плечами у них — надежные помощники, пол-Европы товаром оделяют. Верные люди, говорю тебе.

Пауза.

— Не знаю. Авось выдюжим. Вот и своя кладка у нас имеется, и Пастер не зря корпит, и у тех итальянцев, глядишь, чего прикупим… Выдюжим. Народ говорит, что посылать тебя снова — полное неразумие… никаких денег не хватит… а главное, уж очень боязно, и тут они правы, раньше было по-другому, а нынче… нынче оттуда ног не унесешь.

Пауза.

— Короче, они не хотят остаться без кладки, а я — без тебя.

Какое-то время Эрве Жонкур сидел, глядя на несуществующий парк. Затем сделал то, чего не делал никогда.

— Я поеду в Японию, Бальдабью.

Сказал он.

— Я куплю эту кладку. Если понадобится — на свои деньги. А ты решай: вам я ее продам или кому еще.

Такого Бальдабью не ожидал. Все равно как если бы выиграл калека, вогнав последний шар от четырех бортов по неописуемой кривой.

42

Бальдабью объявил шелководам Лавильдье, что Пастер не заслуживает доверия, что те двое итальяшек уже облапошили пол-Европы, что война в Японии кончится к зиме и что святая Агнесса спросила его во сне, а не сборище ли они бздунов. Одной Элен он не смог соврать.

— Ему и вправду надо ехать?

— Нет.

— Тогда зачем все это?

— Я не в силах его остановить. Если он так хочет туда, я могу только дать ему лишний повод вернуться.

Скрепя сердце шелководы Лавильдье внесли деньги на экспедицию. Эрве Жонкур стал снаряжаться в путь и в первых числах октября был готов к отъезду. Элен, как и в прежние годы, помогала мужу, ни о чем его не спрашивая, утаив свои тревоги. Лишь в последний вечер, задув лампу, она нашла в себе силы сказать:

— Обещай, что вернешься.

Твердым голосом, без всякой нежности.

— Обещай, что вернешься.

В темноте Эрве Жонкур ответил:
— Обещаю.

43

10 октября 1864 Эрве Жонкур отправился в свое четвертое путешествие в Японию. Он пересек границу возле Меца, проехал Вюртемберг и Баварию, въехал в Австрию, поездом добрался до Вены и Будапешта, а затем напрямую до Киева. Отмахал на перекладных две тысячи верст по русской равнине, перевалил через Уральский хребет, углубился в просторы Сибири, сорок дней колесил по ней до озера Байкал, которое в тех краях называют «святым». Прошел Амур вниз по течению вдоль китайской границы до самого Океана. Дойдя до Океана, просидел в порту Сабирк восемь дней, покуда корабль голландских контрабандистов не доставил его до мыса Тэрая на западном побережье Японии. Окольными дорогами проскакал префектуры Исикава, Тояма, Ниигата и вступил в провинцию Фукусима. В Сиракаве он обнаружил полуразрушенный город и гарнизон правительственных войск, окопавшийся в руинах. Он обогнул город с восточной стороны и пять дней напрасно дожидался посланника Хара Кэя. На рассвете шестого дня он выехал

в сторону северных холмов. Он продвигался по грубым картам и обрывочным воспоминаниям. После многодневных блужданий он вышел к знакомой реке, а там — к лесу и дороге. Дорога привела его в деревню Хара Кэя. Здесь выгорело все: дома, деревья — все.

Не осталось совсем ничего.

Ни одной живой души.

Эрве Жонкур окаменело смотрел на эту гигантскую погасшую жаровню. Позади у него был путь длиною в восемь тысяч верст. А впереди — пустота.

Он вдруг увидел то, что считал невидимым.

Конец света.

44

Эрве Жонкур еще долго оставался в разоренной деревне. Он никак не мог заставить себя уйти, хотя понимал, что каждый час, проведенный там, грозил обернуться катастрофой для него и для всего Лавильдье. Он не добыл яичек шелкопряда, а если и добудет — в запасе у него не больше двух месяцев: за этот срок он должен проехать полсвета, до того как они раскроются в пути, превратившись в массу бесплодных личинок. Опоздай он хоть на день — и крах неизбежен. Все это он прекрасно понимал, но уйти не мог. Так продолжал он сидеть, пока не случилось нечто удивительное и необъяснимое: из пустоты совершенно неожиданно возник мальчик. Одетый в лохмотья, он двигался медленно, с испугом поглядывая на пришельца. Эрве Жонкур не шелохнулся. Мальчик подступил ближе и остановился. Они смотрели друг на друга; их разделяло несколько шагов. Наконец мальчик извлек из-под лохмотьев какой-то предмет, дрожа от страха, подошел к Эрве Жонкуру и протянул ему предмет. Перчатка. Мысленным взором Эрве Жонкур уви-

дел берег озера, сброшенное на землю оранжевое платье и легкие волны: присланные откуда-то издалека, они подгоняли озерную воду к берегу. Он взял перчатку и улыбнулся мальчику.

— Это я — француз… за шелком… француз, понимаешь?.. Это я.

Мальчик перестал дрожать.

— Француз…

В глазах у мальчика блеснули слезы, но он засмеялся. И затарахтел, срываясь на крик. И сорвался с места, жестами призывая Эрве Жонкура следовать за ним. Он скрылся на тропинке, уходившей в лес по направлению к горам.

Эрве Жонкур не сдвинулся с места. Он только вертел в руках перчатку — единственный предмет, доставшийся ему от сгинувшего мира. Он понимал, что уже слишком поздно. И что у него нет выбора.

Он встал. Не спеша подошел к лошади. Вскочил в седло. И проделал то, чего и сам не ожидал. Он сдавил пятками бока животного. И поскакал. К лесу, следом за мальчиком, по ту сторону конца света.

45

Несколько дней они держали путь на север, по горам. Эрве Жонкур не различал дороги: он покорно следовал за своим провожатым и ни о чем его не спрашивал. Так они набрели на две деревни. Завидев пришлых, обитатели прятались в домах, женщины разбегались кто куда. Мальчишка, дико веселясь, выкрикивал им вдогонку какую-то абракадабру на своем наречии. Ему было не больше четырнадцати. Он без устали дул в маленькую бамбуковую свирель, извлекая из нее всевозможные птичьи трели. Вид у него был такой, будто он занят наиглавнейшим делом своей жизни.

На пятый день они достигли вершины холма. Мальчик указал на точку впереди себя: за ней дорога устремлялась вниз. Эрве Жонкур взял бинокль. Увиденное им напоминало некое шествие, состоявшее из вооруженных людей, женщин и детей, повозок и животных. Целая деревня пришла в движение. Эрве Жонкур распознал Хара Кэя на коне, облаченного в темное. За ним покачивался паланкин, занавешенный с четырех

сторон пестрой тканью.

46

Мальчик соскочил с лошади, что-то проверещал напоследок и был таков. Перед тем как скрыться за деревьями, он обернулся и на мгновение замер, пытаясь выразить жестом, что путешествие было прекрасным.

— Путешествие было прекрасным! — крикнул ему Эрве Жонкур.

Весь день Эрве Жонкур следил за караваном издалека. Когда караван расположился на ночлег, он продолжал ехать, не сворачивая с дороги, пока навстречу ему не вышли двое воинов. Они взяли его лошадь и поклажу и отвели Эрве Жонкура в шатер. Он долго ждал. Наконец появился Хара Кэй. Никакого знака приветствия. Он даже не сел.

— Как вы здесь очутились, француз?

Эрве Жонкур не ответил.

— Я спрашиваю, кто вас привел?

Молчание.

— Здесь для вас ничего нет. Только война. И это не ваша война. Уходите.

Эрве Жонкур достал кожаный кошель, открыл

его и вытряхнул содержимое на землю. Сусальное золото.

— Война — дорогая игра. Я нужен вам. Вы нужны мне.

Хара Кэй и не взглянул на золотые чешуйки, разметавшиеся по земле. Он повернулся и вышел.

47

Эрве Жонкур провел ночь на краю лагеря. С ним никто не заговаривал. Никто его словно и не замечал. Люди спали на земле вокруг костров. Всего было два шатра. У одного из них Эрве Жонкур подметил пустой паланкин: с четырех углов свисали небольшие клетки с птицами. К решеткам клеток привязаны маленькие золотые колокольчики. Они легонько позванивали от дуновения ночного ветерка.

48

Проснувшись, он увидел, что вся деревня собиралась выступать. Шатры уже сняли. Открытый паланкин стоял на прежнем месте. Люди молча садились в повозки. Он встал и долго озирался по сторонам: но лишь глаза с восточным разрезом встречались с его глазами и тотчас склоняли взгляд. Он видел вооруженных мужчин и видел детей, которые даже не плакали. Он видел немые лица, какие бывают у гонимых людей. И дерево на обочине. А на суку — повешенного мальчугана. Того, что привел его сюда.

Эрве Жонкур подошел к мальчику и остановился как вкопанный, задержав на нем отрешенный взгляд. Немного погодя он распутал обмотанную вокруг ствола веревку, подхватил тело мальчика, уложил его на землю и опустился перед ним на колени. Он не мог оторвать глаз от этого лица. И не заметил, как деревня тронулась в путь. Он только слышал казавшийся далеким шум каравана, который протянулся совсем рядом — по дороге, уходившей чуть в гору. Он не поднял глаз, даже когда поблизости прозвучал голос Хара Кэя:

— Япония — древняя страна. И законы ее тоже древние. По этим законам двенадцать преступлений караются смертью. Одно из них — доставить любовное послание от своей госпожи.

Эрве Жонкур не отводил взгляда от убитого мальчика.

— У него не было любовных посланий.

— Он *сам* был любовным посланием.

Эрве Жонкур догадался, что к его затылку приставили какой-то предмет, пригнув ему голову к земле.

— Это ружье, француз. Не поднимайте голову, прошу вас.

Эрве Жонкур не сразу понял. Но вот, сквозь смутный гул обращенного в бегство каравана, до слуха его долетел золотистый перезвон тысячи маленьких колокольчиков; звук близился, подступая к нему шаг за шагом, и хоть перед глазами у него была только серая земля, он представил себе, как паланкин качается, подобно маятнику, словно и впрямь видел, как, взбираясь по дороге, он мало-помалу приближался, медленно, но неумолимо, влекомый звуком, который становился все сильнее, невыносимо сильным, и надвигался все ближе, так близко, что можно было его коснуться; позолоченное журчание

струилось уже напротив, как раз напротив него — в это мгновение — эта женщина — напротив него.

Эрве Жонкур поднял голову.

Восхитительные ткани, дивные шелка опоясали паланкин. Тысячецветье оранжево-бело-охряно-серебряного. Ни щелочки в волшебном гнезде, только шелестящее колыхание цветов, разлитых в воздухе, — непроницаемых, невесомых, невесомее пустоты.

Эрве Жонкур не услышал взрыва, разносящего в клочья его жизнь. Он уловил тающий вдали звон, почувствовал, как от затылка отвели ружейный ствол, и разобрал голос Хара Кэя:

— Уходите, француз. И больше не возвращайтесь.

49

Только тишина на дороге. Тело мальчика на земле. На коленях стоит человек. Покуда брезжит дневной свет.

50

Эрве Жонкур добирался до Иокогамы одиннадцать дней. Он подмаслил японского чиновника и заполучил шестнадцать кладок яиц шелкопряда, привезенных с юга острова. Эрве Жонкур обернул их шелковой тканью и запломбировал в четырех круглых деревянных коробах. Подыскал суденышко, уходившее на континент, и в первых числах марта высадился на русском берегу. Он двинулся северным путем, чтобы замедлить вызревание яичек и растянуть время, оставшееся до их раскрытия. С вынужденными остановками он проделал четыре тысячи верст по Сибири, перевалил через Урал и прибыл в Санкт-Петербург. Расплатившись золотом, он закупил сотни пудов льда и погрузил его вместе с кладкой яиц в трюм торгового судна, взявшего курс на Гамбург. Плавание заняло шесть дней. Выгрузив четыре круглых деревянных короба, он сел на поезд южного направления. Через одиннадцать часов пути, выехав из местечка Геберфельд, поезд остановился для заправки водой. Эрве Жонкур посмотрел вокруг. По-настоящему летнее солнце припекало

пшеничные поля и все что ни есть на белом свете. Напротив Эрве Жонкура сидел русский коммерсант. Скинув ботинки, он обмахивался последней страницей газеты, набранной по-немецки. Эрве Жонкур взглянул на него повнимательнее. Он заметил на его рубашке мокрые пятна, а на лбу и шее — капли пота. Русский что-то сказал сквозь смех. Эрве Жонкур улыбнулся в ответ, встал, ухватил чемоданы и сошел с поезда. Вернулся в конец состава к товарному вагону, в котором везли мясо и рыбу, переложенные льдом. Вода лилась из вагона, как из таза, продырявленного сотней пуль. Он открыл вагон, залез внутрь, взял один за другим круглые деревянные короба, вытащил их и разложил на земле у самых рельсов. Закрыл вагон и стал ждать. Когда поезд был готов к отправлению, ему крикнули, чтобы он не мешкал и садился. Он помотал головой и махнул на прощанье рукой. На его глазах поезд уходил все дальше и дальше и вскоре скрылся из виду. Он подождал, пока утихнет всякий шум. Затем наклонился к одному из деревянных коробов, сорвал с него пломбы и вскрыл. То же самое он проделал с тремя другими коробами. Медленно и аккуратно.

Миллионы личинок. Мертвых.

Было 6 мая 1865.

51

Эрве Жонкур приехал в Лавильдье спустя девять дней. Его жена Элен издали заприметила экипаж, кативший по аллее поместья. Она сказала себе, что не должна плакать и не должна убегать.

Она спустилась к парадному входу, отпахнула дверь и встала на пороге.

Когда Эрве Жонкур подошел к ней, она улыбнулась. Обняв ее, он тихо сказал:

— Останься со мной, прошу тебя.

Они не смыкали глаз дотемна, сидя на лужайке перед домом, друг возле друга. Элен говорила о Лавильдье, о долгих месяцах ожидания, об ужасе последних дней.

— Ты умер.

Сказала она.

— И на свете не осталось ничего хорошего.

52

Шелководы Лавильдье взирали на тутовые деревья, покрытые листьями, и видели свою погибель. Бальдабью раздобыл несколько новых кладок, но личинки умирали, едва народившись. Шелка-сырца, полученного от немногих сохранившихся партий, еле хватало, чтобы загрузить две из семи местных прядилен.

— У тебя есть какие-нибудь мысли? — спросил Бальдабью.

— Одна, — ответил Эрве Жонкур.

На следующий день он объявил, что за лето собирается разбить вокруг своего дома парк. И подрядил с десяток-другой односельчан. Те обезлесили пригорок и сгладили уклон, полого спускавшийся теперь в низину. Стараниями работников деревья и живая изгородь расчертили землю легкими, прозрачными лабиринтами. Яркие цветы сплелись в причудливые куртины, открывшиеся словно шутейные прогалины среди березовых рощиц. Вода, позаимствованная из ближней речки, сбегала фонтанным каскадом к западным пределам парка, собираясь в неболь-

шом пруду, обрамленном полянками. В южном урочище, меж лимонных и оливковых деревьев, из дерева и железа соорудили огромную вольеру, казалось повисшую в воздухе точно вышивка.

Работали четыре месяца. В конце сентября парк был готов. Никто еще в Лавильдье не видывал ничего подобного. Поговаривали, будто Эрве Жонкур пустил на это все свое состояние. Будто вернулся он из Японии каким-то не таким, не иначе как больным. Будто запродал кладку макаронникам и набил мошну золотом, припрятанным в парижских банках. А еще поговаривали, что ежели б не его парк — окочурились бы все с голоду в тот год. И что был он шельмой. И что был он праведником. А еще — будто нашло на него что-то, ровно напасть какая.

53

О своем странствии Эрве Жонкур сказал только то, что яички шелкопряда раскрылись неподалеку от Кёльна, в местечке под названием Геберфельд.

Спустя четыре месяца и тринадцать дней после его возвращения Бальдабью сел перед ним на берегу пруда у западных пределов парка и сказал:

— Рано или поздно ты все равно расскажешь правду.

Сказал негромко, через силу, ибо сроду не верил, что от правды бывает хоть какая-то польза.

Эрве Жонкур устремил взгляд в сторону парка.

Стояла осень: повсюду разливался обманчивый свет.

— Когда я увидел Хара Кэя в первый раз, на нем была темная туника. Он неподвижно сидел в углу комнаты, скрестив ноги. Рядом лежала женщина. Она положила голову ему на живот. У ее глаз не было восточного разреза. Ее лицо было лицом девочки.

Бальдабью слушал молча. До последнего слова. До поезда в Геберфельд.

Он ни о чем не думал.

Он слушал.

Его кольнуло, когда под конец Эрве Жонкур сказал вполслуха:

— Я даже ни разу не слышал ее голоса.

И, чуть помедлив:

— Какая странная боль.

Тихо.

— Так умирают от тоски по тому, чего не испытают никогда.

Они шли по парку вместе.

Бальдабью произнес всего одну фразу:

— Откуда, черт подери, этот собачий холод?

Всего одну.

Как-то вдруг.

54

В начале нового, 1866 года Япония официально разрешила вывоз яичек шелковичного червя.

В следующем десятилетии одна лишь Франция будет ввозить японского шелкопряда на десять миллионов франков.

С 1869, после открытия Суэцкого канала, весь путь до Японии займет не больше двадцати дней. И чуть меньше двадцати дней — возвращение.

Искусственный шелк будет запатентован в 1884 французом по фамилии Шардонне.

55

Спустя полгода после его возвращения в Лавильдье Эрве Жонкуру пришел по почте конверт горчичного цвета. Вскрыв конверт, он обнаружил семь листов бумаги, испещренных мелким геометрическим почерком: черные чернила, японские иероглифы. Кроме имени и адреса на конверте, в послании ни слова латинскими буквами. Судя по штемпелю, письмо отправили из Остенде.

Эрве Жонкур долго листал и разглядывал его. Письмо напоминало каталог миниатюрных птичьих лапок, составленный с невменяемым усердием. Хотя это были какие-то значки. Иначе говоря, это был прах сгоревшего голоса.

56

Несколько дней подряд Эрве Жонкур носил письмо с собой: сложенное пополам, оно покоилось у него в кармане. Переодеваясь, он всякий раз перекладывал письмо. Но ни разу не заглянул в него. Он лишь ощупывал его рукой, пока говорил с испольщиком или ждал ужина, сидя на веранде. Как-то вечером, у себя в кабинете, он стал рассматривать письмо против лампы. На просвет следы птичек-малюток сливались в глухой, неразборчивый клекот. Они гомонили либо о чем-то пустяковом, либо, напротив, способном перевернуть всю жизнь. Выведать истину было невозможно, и это нравилось Эрве Жонкуру. Появилась Элен. Он положил письмо на стол. Она подошла поцеловать мужа, как делала каждый вечер, прежде чем удалиться в свою комнату. Когда Элен нагнулась, ночная рубашка слегка разошлась у нее на груди. Эрве Жонкур увидел, что под рубашкой у нее ничего не было и что ее груди были маленькими и белоснежными, как у девочки.

Еще четыре дня он жил привычной жизнью,

нисколько не меняя благоразумно заведенного распорядка. Утром пятого дня он надел элегантную серую тройку и поехал в Ним. Сказал, что вернется засветло.

57

На рю Москат, 12 все было в точности как три года назад. Праздник так и не кончался. Девушки были как на подбор: молоденькие и француженки. Тапер наигрывал под сурдинку мотивчики, отдававшие Россией. То ли от старости, то ли от какой подлой хвори, но он уже не запускал в волосы правую руку и не приговаривал себе под нос:

— Вуаля.

Он только немо замирал, растерянно глядя на свои руки.

58

Мадам Бланш приняла его без единого слова. Черные лоснящиеся волосы, безукоризненное восточное лицо. На пальцах, словно кольца, крохотные ярко-голубые цветки. Длинное белое платье, полупрозрачное. Босые ноги.

Эрве Жонкур сел напротив. Вынул из кармана письмо.

— Вы меня помните?

Мадам Бланш неуловимо кивнула.

— Вы снова мне нужны.

Он протянул ей письмо. У нее не было ни малейших оснований брать это письмо, но она взяла его и раскрыла. Проглядев один за другим все семь листов, она подняла глаза на Эрве Жонкура.

— Я не люблю этот язык, месье. Я хочу его забыть. Я хочу забыть эту землю, и мою жизнь на этой земле, и все остальное.

Эрве Жонкур сидел неподвижно — руки вцепились в ручки кресла.

— Я прочту вам это письмо. Прочту. Денег я с вас не возьму. А возьму только слово: не возвращаться сюда больше и не просить меня об этом.

— Слово, мадам.

Она пристально взглянула на него. Затем опустила взгляд на первую страницу письма: рисовая бумага, черные чернила.

— *Мой любимый, мой господин,*

произнесла она,

— *ничего не бойся, не двигайся и молчи, нас никто не увидит.*

59

Оставайся так, я хочу смотреть на тебя, я столько на тебя смотрела, но ты был не моим, сейчас ты мой, не подходи, прошу тебя, побудь как есть, впереди у нас целая ночь, и я хочу смотреть на тебя, я еще не видела тебя таким, твое тело — мое, твоя кожа, закрой глаза и ласкай себя, прошу,

— мадам Бланш говорила, Эрве Жонкур слушал —

не открывай глаза, если можешь, и ласкай себя, у тебя такие красивые руки, они столько раз снились мне, теперь я хочу видеть их, мне приятно видеть их на твоей коже, вот так, прошу тебя, продолжай, не открывай глаза, я здесь, нас никто не видит, я рядом, ласкай себя, мой любимый, мой господин, ласкай себя внизу живота, прошу тебя, не спеши,

— она остановилась; пожалуйста, дальше, сказал он —

она так хороша — твоя рука на твоем члене,

не останавливайся, мне нравится смотреть на нее и смотреть на тебя, мой любимый, мой господин, не открывай глаза, не сейчас, тебе не надо бояться, я рядом, ты слышишь? я здесь, я могу коснуться тебя, это шелк, ты чувствуешь? это мое шелковое платье, не открывай глаза, и ты познаешь мою кожу,

— она читала не торопясь, голосом женщины-девочки —

ты изведаешь мои губы; в первый раз я коснусь тебя губами, и ты не поймешь, где именно, ты вдруг почувствуешь тепло моих губ и не сможешь понять где, если не откроешь глаза, — не открывай их, и ты почувствуешь мои губы совсем внезапно,

— он слушал неподвижно; из кармашка серой тройки выглядывал белоснежный платок —

быть может, на твоих глазах: я прильну губами к твоим векам и бровям, и ты почувствуешь, как мое тепло проникает в твою голову, а мои губы — в твои глаза; а может, ты почувствуешь их на твоем члене: я приложусь к нему губами и постепенно их разомкну, спускаясь все ниже и ниже,

— она говорила, склонившись над листами и осторожно касаясь рукой шеи —

и твой член раскроет мои уста, проникая меж губ и тесня язык, моя слюна стечет по твоей коже и увлажнит твою руку, мой поцелуй и твоя рука сомкнутся на твоем члене одно в одном,

— он слушал, не сводя глаз с пустой серебряной рамы, висевшей на стене —

а под конец я поцелую тебя в сердце, потому что хочу тебя; я вопьюсь в кожу, что бьется на твоем сердце, потому что хочу тебя, и твое сердце будет на моих устах, и ты будешь моим, весь, без остатка, и мои уста сомкнутся на твоем сердце, и ты будешь моим, навсегда; если не веришь — открой глаза, мой любимый, мой господин, и посмотри на меня: это я, разве кому-то под силу перечеркнуть теперешний миг и мое тело, уже не обвитое шелком, и твои руки на моем теле, и устремленный на меня взгляд,

— она говорила, подавшись к лампе; пламенный свет заливал бумагу, сочась сквозь ставшее прозрачным платье —

твои пальцы у меня внутри, твой язык на моих губах, ты скользишь подо мной, берешь меня за

бедра, приподнимаешь и плавно сажаешь меня на свой член; кто сможет перечеркнуть все это: ты медленно движешься внутри меня, твои ладони на моем лице, твои пальцы у меня во рту, наслаждение в твоих глазах, твой голос, ты движешься медленно, но все же делаешь мне больно — и так приятно, мой голос,

— он слушал; в какое-то мгновение он обернулся к ней, увидел ее, попробовал опустить глаза, но не смог —

мое тело на твоем, выгибаясь, ты легонько подбрасываешь его, твои руки удерживают меня, я чувствую внутри себя удары — это сладостное исступление, я вижу, как твои глаза пытливо всматриваются в мои, чтобы понять, докуда мне можно сделать больно: докуда хочешь, мой любимый, мой господин, этому нет предела и не будет, ты видишь? никто не сможет перечеркнуть теперешний миг, и ты вечно будешь с криком закидывать голову, я вечно буду закрывать глаза, смахивая слезы с ресниц, мой голос в твоем голосе, ты удерживаешь меня в своем неистовстве, и мне уже не вырваться, не отступиться, ни времени, ни сил больше нет, этот миг должен был настать, и вот он настал, верь мне,

мой любимый, мой господин, этот миг пребудет отныне и вовек, и так до скончания времен.

— она говорила чуть слышно и наконец умолкла.

На листе, который она держала в руке, не было других знаков: тот был последним. Однако, повернув лист, чтобы положить его, она увидела на обратной стороне еще несколько аккуратно выведенных строк — черные чернила посреди белого поля страницы. Она вскинула глаза на Эрве Жонкура. Он смотрел на нее проникновенным взглядом, и она поняла, какие прекрасные у него глаза. Она опустила взгляд на лист.

— *Мы больше не увидимся, мой господин.*

— сказала она —

Положенное нам мы сотворили, и вы это знаете. Верьте: сделанное нами останется навсегда. Живите своей жизнью вдали от меня. Когда же так будет нужно для вашего счастья, не раздумывая забудьте об этой женщине, которая без сожаления говорит вам сейчас «прощай».

Некоторое время она еще смотрела на лист бумаги, затем присоединила его к остальным,

возле себя, на столике светлого дерева. Эрве Жонкур сидел не двигаясь. Он лишь повернул голову и опустил глаза, невозмутимо уставившись на едва намеченную, но безукоризненную складку, пробороздившую его правую брючину от паха до колена.

Мадам Бланш встала, нагнулась к лампе и потушила ее. В комнате теплился слабый свет, проникавший туда через круглое окошко. Она приблизилась к Эрве Жонкуру, сняла с пальца кольцо из крохотных голубых цветков и положила его рядом с ним. Потом сделала несколько шагов, отворила маленькую расписную дверцу, спрятанную в стене, и удалилась, оставив дверцу полуоткрытой.

Эрве Жонкур долго сидел в этом необыкновенном свете и все вертел в руках цветочное кольцо. Из гостиной доносились звуки усталого рояля: они растворяли время почти до неузнаваемости.

Наконец он встал, подошел к столику светлого дерева, собрал семь листов рисовой бумаги. Пересек комнату, не глядя миновал полуоткрытую дверцу и вышел.

60

В последующие годы Эрве Жонкур избрал для себя тот ясный образ жизни, какой пристал человеку, не ведавшему нужды. Он коротал дни под опекой размеренных переживаний. В Лавильдье, как и прежде, восхищались этим человеком, ибо видели в нем воплощение *правильной* жизни, к которой и следует стремиться на этом свете. Говаривали, что таким он был и в молодости, до хождений в Японию.

Он взял за правило совершать раз в год небольшое путешествие со своей женой Элен. Они повидали Неаполь, Рим, Мадрид, Мюнхен, Лондон. Однажды добрались до самой Праги, где все казалось им театром. Они путешествовали, не считаясь со временем и не строя заранее планов. Их поражало все: втайне, даже собственное счастье. Когда они начинали тосковать по тишине, то возвращались в Лавильдье.

Спроси его кто-нибудь, Эрве Жонкур ответил бы, что они готовы жить так вечно. Он источал совершенное умиротворение, как человек, живущий в согласии с собой. Иногда, ветреным днем,

он выходил в парк, спускался к пруду и часами просиживал на берегу, глядя, как рябь на воде слагается в необычайные фигуры, играющие то тут, то там шальным блеском. Повсюду веял все тот же ветер, но при взгляде на водную гладь казалось, что их тысяча. От края до края. Пленительная картина. Легкая и необъяснимая.

Иногда, ветреным днем, Эрве Жонкур спускался к пруду и часами смотрел на воду, расчерченную легкими и необъяснимыми картинами, в которые слагалась его жизнь.

61

16 июня 1871, ближе к полудню, в дальней части кабачка Вердена, калека закатил дурака от четырех бортов с откатом. Потрясенный Бальдабью оцепенел, согнувшись над столом: одна рука отъехала за спину, другая все еще сжимала кий.

— Вот те на.

Он распрямился, положил кий и, не сказав ни слова, вышел. Через три дня Бальдабью уехал. Обе свои прядильни он подарил Эрве Жонкуру.

— О шелке я больше знать ничего не желаю, Бальдабью.

— Продай их, дурень.

Никому так и не удалось у него выудить, куда это он вдруг наладился. И на кой черт. Он что-то там промямлил насчет святой Агнессы, но никто толком не понял.

В день отъезда Эрве Жонкур и Элен проводили его на вокзал в Авиньоне. При нем имелся всего один чемодан, что, в общем, тоже было маловразумительно. Увидав пыхтевший у перрона поезд, он опустил чемодан на землю.

— Знавал я одного оригинала, который проло-

жил железную дорогу для себя одного.

Сказал он.

— Самое интересное, что она была совершенно прямой: сотни верст без единого поворота. На то была какая-то причина, только уже не помню какая. Вечно эти причины забываются. Ну да ладно, прощайте.

Он не особо тяготел к серьезным разговорам. А прощание, как ни крути, разговор серьезный.

Они смотрели, как он удаляется: он и его чемодан. Навсегда.

И тут Элен совершила нечто странное. Отпрянув от Эрве Жонкура, она кинулась вслед за Бальдабью. Догнала его, крепко обняла и разрыдалась.

Элен вообще-то никогда не плакала.

Эрве Жонкур продал обе прядильни за бесценок Мишелю Ларио. Душа-человек. Двадцать лет, каждую субботу, он с несокрушимым постоянством продувал Бальдабью в домино. У него было три дочери. Первых двух звали Флоранс и Сильвия. Зато третью — Агнесса.

62

Три года спустя, зимой 1874, Элен заболела воспалением мозга. Врачи не смогли ни объяснить, ни вылечить его. Она умерла в начале марта. Дождливым днем.

Проститься с ней пришли все жители Лавильдье. Они молча поднимались по кладбищенской аллее. Элен была светлым человеком и не принесла никому горя.

Эрве Жонкур велел выбить на ее могиле одно-единственное слово:

Hélas.[1]

Он всех благодарил, то и дело твердя, что ему ничего не нужно, и вернулся домой. Никогда еще дом не казался Эрве Жонкуру таким большим. А его судьба — такой бессвязной.

Поскольку отчаяние было крайностью ему не свойственной, он сосредоточился на том, что осталось от его жизни, и снова начал ухаживать за ней с неумолимым упорством садовника, берущегося за работу наутро после бури.

---

[1] Примечания: 1

Увы (*франц.*).

63

Однажды, спустя два месяца и одиннадцать дней после смерти Элен, Эрве Жонкур пошел на кладбище. Рядом с розами, которые он приносил на могилу жены каждую неделю, Эрве Жонкур увидел венчик из крохотных голубых цветков. Нагнувшись, он стал рассматривать их и долго еще пребывал в таком положении. Случись кому застигнуть эту сцену, она наверняка показалась бы ему странноватой, если не сказать смешной. Придя домой, Эрве Жонкур, против обыкновения, уже не выходил работать в парк, а сел в кабинете и задумался. С утра до вечера он только то и делал. Думал.

64

На рю Москат, 12 он обнаружил ателье. Ему сказали, что мадам Бланш давно здесь не живет. Он узнал, что она переехала в Париж и стала содержанкой какого-то высокопоставленного лица, вероятно политика.

Эрве Жонкур выехал в Париж.

На поиски адреса ушло шесть дней. Он послал ей записку с просьбой о встрече. Она ответила, что ждет его в четыре пополудни следующего дня. Точно в назначенный час он поднялся в третий этаж изящного особняка на бульваре Капуцинов. Дверь открыла горничная. Она провела его в гостиную. Мадам Бланш появилась в очень элегантном и очень французском платье. Волосы ниспадали ей на плечи, сообразно тогдашней парижской моде. Колец из голубых цветков на руках не было. Она села против Эрве Жонкура, не говоря ни слова. И замерла в ожидании.

Он посмотрел ей в глаза, как посмотрел бы ребенок.

— Ведь это вы написали то письмо, не правда ли?

Сказал он.

— Элен попросила вас написать, и вы написали.

Мадам Бланш сидела, затаив дыхание, не отводя глаз, не выдавая ни малейшего волнения.

Наконец она промолвила:

— Письмо писала не я.

Молчание.

— Его написала Элен.

Молчание.

— Когда она пришла ко мне, оно уже было написано. Она попросила меня переложить письмо на японский. И я согласилась. Вот как все было.

В этот момент Эрве Жонкур понял, что будет слышать ее слова всю свою жизнь. Он встал и продолжал стоять, словно вдруг позабыл, куда идти. Откуда-то издалека донесся голос мадам Бланш:

— А еще она захотела прочесть его. У нее был чарующий голос. Она произносила эти слова с таким волнением, которого мне не забыть никогда. Как будто это были ее настоящие слова.

Эрве Жонкур шел по гостиной, еле волоча ноги.

— Видите ли, месье, я думаю, что больше всего на свете ей хотелось *стать той женщиной*. Вам

этого не понять. А я слышала, как она читает свое письмо. И знаю, что это так.

Эрве Жонкур подошел к двери, взялся за ручку и, не оборачиваясь, выдохнул:

— Прощайте, мадам.

Это была их последняя встреча.

65

Эрве Жонкур прожил еще двадцать три года. Бóльшую часть из них — в добром здравии и душевном покое. Он уже никуда не уезжал из Лавильдье и не покидал своего дома. Он мудро распоряжался своим состоянием, и это избавило его от необходимости работать где бы то ни было, кроме собственного парка. Со временем он стал позволять себе удовольствие, в котором раньше всегда отказывал: навещавшим его он описывал свои путешествия. Слушая эти рассказы, жители Лавильдье познавали мир, а дети постигали чудо. Говорил он медленно, замечая в воздухе то, чего другие не замечали.

По воскресеньям он выбирался в город к Праздничной мессе. Раз в году объезжал местные прядильни, чтобы потрогать новорожденный шелк. Когда одиночество сжимало ему сердце, он приходил на кладбище поговорить с Элен. Остаток времени он проводил в кругу обрядовых привычек, ограждавших его от уныния. Иногда, ветреным днем, он спускался к пруду и часами смотрел на воду, расчерченную легкими и необъ-

яснимыми картинами, в которые слагалась его жизнь.